

Геннадий Красухин  
Стёнки ~  
дорожки



Литературные нравы недалёкого прошлого

# Геннадий Григорьевич Красухин

## Стежки-дорожки.

### Литературные нравы

### недалекого прошлого

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=5740797](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5740797)*

*Стёжки дорожки: Литературные нравы недалёкого прошлого.: Языки славянской культуры; Москва; 2005  
ISBN 5-9551-0080-6*

### Аннотация

Автор этой книги после окончания в начале 60-х годов прошлого века филологического факультета МГУ работал в Государственном комитете Совета Министров СССР по кинематографии, в журналах «Семья и школа», «Кругозор» и «РТ-программы». В 1967 году он был приглашен в отдел русской литературы «Литературной газеты», где проработал 27 лет. В этой книге, где автор запечатлел вехи своей биографии почти за сорок лет, читатель встретит немало знаменитых и известных в литературном мире людей, почувствует дух не только застойного или перестроечного времени, но и нынешнего: хотя под повествованием стоит совершенно определенная дата, автор в сносках комментирует события, произошедшие после.

Обращенная к массовому читателю, книга рассчитана прежде всего на любителей чтения мемуарной литературы, в данном случае обрисовывающей литературный быт эпохи.

# Геннадий Григорьевич Красухин

## Стёжки дорожки: Литературные нравы недалёкого прошлого

*Ещё и ещё раз оглянись на свою жизнь и  
проси прощения за всё, что всплывает в твоей  
памяти: за злословие, за эгоизм твоих мыслей,  
за всякое критическое суждение о других, которое  
тебя занимает и лишает тебя покоя...*

*Блаженный Хосемария Эскрива*

В университет я поступил случайно. Шли мы со школьным приятелем по Моховой и увидели объявление, крупно написанное на огромной доске, стоящей у забора перед красивым жёлтым зданием. В этом здании нынче размещается журфак, который т. огда меня не привлекал (я ходил в знаменитое в те годы литературное объединение «Магистраль» и подумывал о Литературном институте). Но мы прочли, что МГУ объявляет приём на вечернее отделение не факультета журналистики, а исторического и филологического. Приём документов заканчивался дня через три. И сразу же начинались экзамены.

Подумав, я решил сдавать на филологический исключительно для тренировки. До экзаменов на дневном отделении времени было ещё много. А экзамены во все гуманитарные вузы были одинаковыми: сочинение, устные русский и литература, история СССР и немецкий (это для меня, а для тех, кто учил французский или английский, соответственно они). С документами сложностей не было: медицинскую карту я получил на следующий день в поликлинике, далеко не пятёрочный аттестат валялся в моей тумбочке, а справку с работы мне и вовсе выдали без проблем: уже почти два года я работал радиомонтажником на заводе «Полиграфмаш», куда устроил меня отец – главный механик этого завода и куда я пошёл, соблазнившись названием: всё-таки полиграфия!

Сочинение я писал на так называемую «свободную» тему: «Советский Союз – оплот мира и безопасности». Регулярный читатель «Правды» и «Литературной газеты» я, почти не думая, катал страницу за страницей шаблонные блоки об агрессивной политике НАТО, о миролюбивом Варшавском пакте, о только что прошедшем в Москве Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Вспомнил я и о том, как сумели силы мира и прогресса, возглавляемые Советским Союзом, остановить тройственную агрессию Англии, Франции и Израиля против Египта. Заклеймил американцев за их поддержку антинародного режима шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в Иране. И был очень тепло встречен на устном экзамене двумя преподавателями. С одним из тех, кому я отвечал по

литературе, я сблизился уже через много лет после окончания университета. Это был Владимир Николаевич Турбин.

Турбин спросил, почему я выбрал именно свободную тему, и весело хмыкнул, услышав, что свободная даёт больше простора для воображения. Это потом до меня дошло, как разочаровал я его своим ответом. Турбин, влюблённый в классическую литературу, не терпевший трескучей советской демагогии, прочитал политинформацию-сочинение и отказался слушать новую политинформацию на тему: «Образ настоящего человека в повести Бориса Полевого». «Да, – сказал он, – про Мересьева можете не рассказывать: верю, что знаете, а вот об основах стихосложения, пожалуйста, поподробнее!»

Поподробнее, так поподробнее! Ямб? Пожалуйста, трёхстопный, четырёхстопный, пятистопный! Хорей? Ради Бога, вот вам примеры чистейшего хорей! Дактиль? Дактилическая рифма? Кто чаще всех её использовал? Некрасов! По счастью, я писал стихи и всякий раз пересчитывал в них ударные и безударные. И определять размер стихотворений поэтов, которых я любил, было для меня удовольствием.

«Пятёрку» по истории СССР я получил, как оказалось, единственным во всём потоке. Ничего удивительного в этом не было: билеты и вопросы экзаменаторов были пересыпаны съездами партии, о которых я обожал читать. Дома у отца было красное третье ленинское собрание сочинений с очень интересовавшими меня комментариями – подлинны-

ми документами всякого рода оппозиций, со всеми фамилиями под этими документами. А у старшего брата отца сохранились стенограммы кое-каких съездов и наиболее громких судебных процессов, которые я тоже читал как занимательный роман. Словом, я знал все съезды поштучно: когда какой проходил, какие вопросы на каком обсуждались и какую именно громили оппозицию. Запарившись, гоняя меня по левым и правым уклонам, оба экзаменатора рекомендовали мне идти на исторический, если я не поступлю сейчас.

Нет, высокого количества баллов я не набрал, но их оказалось достаточно, чтобы моя фамилия появилась в списке зачисленных на вечернее отделение филфака. И здесь я задумался.

– А если я заберу документы и буду поступать на дневной? – спросил я пожилую даму в учебной части.

– Пожалуйста, – холодно ответила она. – Забирайте и поступайте.

– А если не поступлю, смогу восстановиться на вечернем?

– Что значит «восстановиться»? Вы и дня ещё не проучились! Будете поступать снова в будущем году!

Иначе говоря, синица или журавль? Рисковать не хотелось. И я остался на вечернем.

Но когда дошло до дела, то есть до учёбы, понял, что пяти лет мне не выдержать. Завод мне был совершенно чужд. Правда, мне платили неплохие деньги, на которые мы частенько посиживали с приятелями в шашлычной на Арбате,

или в чешском баре в Парке культуры имени Горького, или в каком-нибудь ресторане в центре. Но тянуло меня к литературе и в литературу.

Тем более что как раз в это время Женя Храмов, первый поэт, которого я увидел в своей жизни и который направил меня в «Магистраль» – очень мощное литературное объединение, стал уверенно обещать мне подборку стихов в «Юности», где Женя работал литконсультантом. Собственно с этого и началось наше знакомство. Ещё в десятом классе я послал в «Юность» свои стихи, Храмов мне позвонил, и мы договорились о встрече на Цветном бульваре, где располагался тогда журнал. Теперь Женя говорил, что сам заведующий отделом поэзии Коля Старшинов хочет меня напечатать, но что для полновесной подборки не хватает «паровозов», то есть оптимистических стихов, которые бы вытянули мои нравящиеся ему, но с налётом пессимизма. «Паровозы» у меня не получались, и я стал подозревать, что при таком ритме жизни мне просто не хватает времени. К тому же и вечерние занятия в «Магистральной» мне пропускать не хотелось. Григорий Михайлович Левин, наш руководитель, умел их делать очень интересными. То встреча с Беллой Ахмадулиной, то с Борисом Слуцким, а то и участники нашего объединения выдавали такое, что надолго врезалось в память: вдруг запел Булат Окуджава, прочитал первые свои рассказы Владимир Войнович, набирал силу Саша Аронов, про которого Григорий Михайлович сказал: «Покрупнее будет поэт,



чем Вознесенский».

Но как перейти на дневной? Что весь первый курс я обречён учиться на вечернем, это я понимал. Ну а после первого? Мне говорили, что нужно будет подать заявление, которое рассмотрит специальная комиссия во главе с замом декана Михаилом Никитичем Зозулей. Но что комиссия эта редко кого переводит. Разве что по знакомству. А я не знал ни Зозулю, ни кого-нибудь другого из университетского или факультетского начальства.

Заявление я подал сразу после окончания первого курса. И немедленно получил отказ. Его причины мне не объяснили. А вот такую же просьбу моего сокурсника, который работал курьером декана Самарина, удовлетворили, как он мне похвастал, единогласно. Было от чего начать роптать на судьбу!

Но судьба, как известно, переменчива. Только я собрался на неё роптать, как обнаружилось, что у меня в университете есть мощный покровитель. Точнее, не есть, а будет, если я к нему пойду знакомиться. А я пойду, потому что он сам назначил мне встречу.

Об этом мне сказал отец, который случайно разговаривал со своим коллегой по заводскому партбюро. Коллега возглавлял в Подмосковье дачный кооператив старых большевиков и был в прекрасных дружеских отношениях с одним из дачников – проректором МГУ Григорием Даниловичем Вовченко. Узнав, что у меня в МГУ возникли проблемы,

приятель Вовченко вызвался мне помочь. И вот я еду в ректорат на Ленинских горах, где секретарша очень приветливо выпускает меня в огромный кабинет с большим столом, над которым высится крупный хозяин, дружески мне улыбаясь и пожимая руку.

– Соедините меня с Зозулей, – говорит он секретарше.

– Ну что, Михал Никитич, – благодушно говорит он в трубку, – помнишь, как мы с тобой советскую власть на Украине устанавливали? Чего не звонишь? Я-то вот чего звоню: есть у тебя на вечернем студент Красухин, – он листает мою зачётную книжку, – перешёл на второй курс, одна четвёрка всего, остальные – пятёрки. Хочет перейти на дневной. Я думаю, что ему надо помочь. Что? – он недовольно морщится. – Ну, один раз отказала, а он опять подаст. А ты ему помоги. Договорились? Лады! Завтра же он к тебе и зайдёт. Ну, хорошо, раз ты такой бюрократ, то он завтра подаст заявление. А ты помоги. Договорились?

Однако на заседании комиссии, на которую на этот раз меня вызвали присутствовать, Зозуля вёл себя с нескрываемой враждебностью. «От армии отлыниваем!» – сказал он мне. «На нас давит ректорат, – объявил он членам комиссии, – Красухина хотят перевести по блату. А мы по блату никого не переводим». «Ясно? – спросил он меня. – Можете идти».

Через короткое время я снова оказался в кабинете Вовченко.

– А ведь обещал, – досадливо сказал тот о Зозуле. – Лад-

но, обойдёмся без него.

Оказывается, на Моховой как раз напротив нашего факультета располагалась приёмная Донченко, помощника проректора, который очень почтительно принял от меня заявление с резолюцией Вовченко и сказал, что недели через две приказ будет подписан.

– Деканом? – повторил он мой вопрос. – Нет, подпишет ректор.

И я оказался на дневном, правда, приобретя могущественного врага, который иначе как «блатмейстер» меня при встрече не называл. Даже когда в университете случилось ЧП: на одной из лекций мы обнаружили в столах листовки, призывающие не ходить «на выборы без выбора», после чего нас стали вызывать по одному в кабинет Зозули, он спросил меня: «Ну что, блатмейстер? Вы, конечно, тоже не знаете, кто принёс на факультет эту гадость?»

Почему он отнёсся ко мне с такой неприязнью, что даже не выполнил своего обещания Вовченко (хотя не мог не понимать, что у ректората есть все возможности настоять на своём), я не знаю. Могу только предположить, что унизил властного и амбициозного Зозулю тем, что он уже однажды отказал мне в переводе и менять своих решений не любил и не собирался. Объявись Вовченко раньше, перед тем, как я подал первое заявление о переводе, и меня, возможно, перевели бы с не меньшим энтузиазмом, чем курьера декана. Ведь подумать только: на комиссию не произвело никакого

впечатления, что уже на первом курсе «Литературная газета» напечатала небольшую мою заметку о современной поэзии: я был единственным на курсе студентом, выступившим в большой прессе! И я в первом своём заявлении нажимал на это обстоятельство, — не на то, конечно, что был единственным печатающимся первокурсником, а на публикацию: просил, опираясь на неё, перевести меня на дневной, чтобы я смог сосредоточиться на учёбе и на литературной работе.

Это было время хрущёвского возвращения к рабфаку, когда в институт принимали только тех, кто имел не меньше двухгодичного рабочего стажа. Перейдя на дневной, я обнаружил, что вечерники, пожалуй, были посильнее. Всё-таки они были вчерашними школьниками, от которых не требовалось никакого стажа — только справка с текущей работы. А здесь я смотрел на своих сокурсников и недоумевал: что привело большинство из них на филологический? Неначитанных, не любящих литературы? Я-то думал, что дневной будет нечто вроде нашей «Магистральной». А он оказался не похож на сообщество людей, объединённых родственными интересами. Унылая серость и равнодушие царили на факультете. Лекции на дневном отделении и особенно семинары нередко перебивались элегическими воспоминаниями преподавателей о том, какими прежде были их студенты. И они были правы в своих ностальгических чувствах. Наш курс и в самом деле не выпустил ни приметных филологов, ни заметных критиков. Припоминаю только недавно умершего Юру

Кашкарова, который в конце семидесятых оказался в Америке, сблизился с Романом Гулем и после его смерти возглавил нью-йоркский «Новый Журнал», где печатал и собственную, неплохую прозу.

Не скажу, что мне вообще не нравилось учиться на филфаке. Я с удовольствием занимался исторической грамматикой, любил лекции Николая Ивановича Либана по древнерусской литературе, оценил Виктора Дмитриевича Дувакина, который читал нам литературу начала XX века, время от времени цитируя наизусть не называемых им крамольных поэтов, – приятно было узнавать Гумилёва, Северянина, Бальмонта, которых я ещё прежде переписывал в Ленинке в свою тетрадку. И всё-таки тон на факультете задавали не эти преподаватели.

Не только студенты боялись Алексея Ивановича Метченко, но и преподаватели. Малограмотный исследователь Маяковского нередко выступал с погромными статьями в «Коммунисте». (Особую ненависть вызвала у меня его статья о «Тарусских страницах» и о напечатанной в этом альманахе повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!»)

Вальяжный Роман Михайлович Самарин, разоблачённый как бериевский сексот и снятый за стукачество с деканов, был оставлен заведовать кафедрой иностранной литературы. И сдавать ему экзамены было невыносимой мукой. Кажется, что ему доставляло удовольствие возвращать студенту зачётку со словами: «Придёте, когда выучите!» К нему приходи-

ли пересдавать экзамен по пять, по шесть раз, – до тех пор, пока он не смягчался: «Ну, хорошо, тройку вы заработали».

Не помню фамилии той, кому я сдавал основы литературоведения. Курьёзно, но мне выпало отвечать по тому же вопросу, что и на вступительных экзаменах, – о стихотворных размерах. Но в отличие от Турбина, экзаменаторша вдруг резко меня остановила: «Кого вы цитируете?» «Гейне», – ответил я. «В каком веке он жил?» – «В девятнадцатом». – «А когда поэты обращаются к дольнику?» – «В *России*, – говорю, – многие метрические новшества ввёл Фет. В частности, его стихотворение начала шестидесятых “Свеча нагорела. Портреты в тени...” написано дольником. Но особенно популярен дольник у поэтов конца девятнадцатого – начала двадцатого века». – «А Гейне тут причём?» «Но Гейне ведь не русский поэт, – объясняю. – Он мог обратиться к дольнику раньше, чем это сделали в России. Да и цитирую я его в переводе Блока». «Значит, – сказала мне преподавательница, – вы считаете, что Блок мог перевести Гейне дольником?» «Так считают Тимофеев и Венгров, – отвечаю. – В их “Кратком словаре литературоведческих терминов” приведена именно эта цитата как пример дольника». «Словом, – прервала наши учёные дебаты экзаменаторша, – больше тройки вы не заслужили!»

Было не обидно, а смешно. Я не был отличником и не мечтал о красном дипломе, но такие вещи отбивали охоту к учёбе. Конечно, не все, далеко не все преподаватели были негра-

мотны, как эта, или подозрительны и злы, как Метченко и Самарин. Я любил Льва Антоновича Чешко (русский язык) и Николая Алексеевича Фёдорова (античная литература). За-вораживал своими лекциями Сергей Михайлович Бонди, ко-торый помимо прочего очень артистично читал стихи Пуш-кина. Но большинство преподавателей было так же равно-душно к своим предметам, как их студенты. И я переключился в основном на собственные стихи и статьи.

В «Юности» обещанная Храмовым подборка так и не по-явилась, но зато первую же мою курсовую работу напечатал отдел критики журнала «Молодая гвардия» и заказал ещё статью. Тут же попросила написать им о поэзии «Литератур-ная газета». Напечатала большую статью «Москва». Я так хо-рошо устроился, что очередную статью потом проводил как курсовую работу за год, неизменно получая за неё пятёрку от Владислава Алексеевича Зайцева, руководителя семина-ра «Современная советская поэзия».

Словом, на четвёртом курсе я изнывал от скуки в универ-ситете и оживлялся, работая по заказу для какой-нибудь ре-дакции. За статьи неплохо платили, что для нашей семьи бы-ло очень важно. Я женился рано, на однокурснице, коляска с сыном, пока мы с женой по очереди сидели на лекциях, нередко стояла во дворе университета, благо жили мы неда-леко. Двух стипендий нам, конечно, не хватало, и мой гоно-рар часто нас спасал.

И всё-таки надо было думать о постоянном заработке.

Университет ещё не был закончен, но это меня не смущало: меня знали в редакциях, и я мечтал, в какую-нибудь из них устроиться.

И вот – улыбка Фортуны! Только я это про себя решил, как в журнале «Москва», куда я зашёл вычитывать гранки своей статьи, встречаю Александра Львовича Дымшица, про которого я знал, что он поссорился с Кочетовым и ушёл из «Октября» из-за Солженицына. Дымшиц написал положительную рецензию на «Один день Ивана Денисовича», а Кочетов расценил это как предательство. Мы не были близко знакомы, но при встрече раскланивались.

– Александр Львович, – сказал я, – у вас нет на примете какой-нибудь редакторской работы?

– Для кого? – спросил Дымшиц.

– Для меня.

Дымшиц весело посмотрел на меня и сказал: «А вы оставьте мне свой телефончик, очень может быть, что я скоро вам позвоню».

Он позвонил даже быстрее, чем я думал, – дня через три. И предложил работу во вновь создаваемом Госкомитете по кинематографии.

– И какого рода будет эта работа? – спросил я удивлённо, поскольку до этого никогда не имел дела с кино.

– Редакторская, – коротко ответил Дымшиц и добавил. – Будете работать у меня. Завтра придёте в отдел кадров по Малому Гнездниковскому переулку (он назвал дом) со все-



ми документами – паспортом, дипломом. Что? У вас нет диплома? – он задумался, выслушав мой ответ. – Хорошо, – сказал он, услышав от меня, что ради такого дела я готов перевестись на заочный, – переводитесь, только не тяните, приходите в отдел кадров и подавайте заявление. Они в курсе.

Понимаю тех, кто поморщится от одного только имени моего покровителя. Дымшиц так и остался в истории литературы с репутацией свирепого гонителя талантов. Его размова с Кочетовым из-за Солженицына объяснялась только благосклонностью к первой солженицынской повести Хрущёва, а Александр Львович в отличие от твёрдокаменного Кочетова всегда держал нос по ветру. Оправдывать его не собираюсь. И всё-таки повторю то, что позднее мне рассказывал о нём Владимир Михайлович Померанцев, который в одно время с Дымшицем находился в советской оккупационной зоне Германии. До создания ГДР Дымшиц практически был министром культуры зоны, которого немцы полюбили за... либерализм. Да-да, в то время он был либералом, и его коллеги в Германии (тот же Померанцев) знали его как умного, интеллигентного человека, который едко отзывался о бездарных новинках, во множестве печатавшихся в советских журналах, и сочувственно – о том немногом, что было отмечено талантом. А потом его словно подменили. Конечно, это он переменялся сам, вернувшись в Россию в самый разгар набравшей силу кампании борьбы с космополитами (читай: с евреями!). И страшно испугался этой кампании:

стал клеймить заклеянных и обслуживать погромщиков.

Он выбрал для себя определённую позицию и от неё уже не отступал. Но при этом, говорил мне Владимир Михайлович, был способен на щедрые дружеские жесты. Например, когда за статью «Об искренности в литературе» Померанцева не топтал только ленивый, когда его не только не печатали, но отрезали пути к любому заработку, Дымшиц почти насильно всучил ему крупную сумму денег, категорически оговаривая, что возвращать её ему не нужно.

Чужая душа, как известно, потёмки. Помнится, как тщательно и любовно готовила «Библиотека поэта» первую после гибели Мандельштама книгу стихов этого поэта. Была написана и вступительная статья. Но министерские и цековские чиновники добро этой книге не давали. И не дали бы, если б кому-то в редакции не пришло в голову заказать новую вступительную статью Дымшицу. Он согласился. Конечно, книжка стала хуже, в статье было немало уксуса, но ведь книга вышла! И дала возможность другим изданиям потихоньку публиковать стихи уже не опального, а полуопального (таких изредка печатали) поэта.

Помню, как охотно откликался Дымшиц на предложения «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» написать вступительную заметку к стихам того или иного обэриута. С таким «паровозом» стихи проходили даже через сверхбдительного Тертеряна, о котором я ещё расскажу.

А у меня лично отношения с Дымшицем после того, как

я ушёл из Госкино, остались очень натянутыми: мы холодно кивали друг другу при встрече и ни о чём никогда не разговаривали.

\* \* \*

Итак, я пошёл в отдел кадров Комитета по кино, где мне дали справку-вызов: дескать, в связи с тем, что принимаем его на работу, просим его перевести на заочное отделение.

По этому поводу никакая комиссия не заседала, и меня отпустили на удивление легко. Сказали только, что я должен буду доедать несколько экзаменов, которые на дневном сдавал как зачёты. Впрочем, я могу их и не сдавать, если согласен получить за них «тройки». Конечно, я согласился.

Мне всё понравилось: и внушительный дворянский особняк, в котором расположился наш Комитет, и наша огромная – на шесть столов комната с несколькими окнами, и мои коллеги, сидящие со мной в одной комнате: Лёва Рудницкий, Игорь Раздорский, Костя Ахтырский и Толя Барыкин были значительно старше меня, а Саша Мулярчик старше всего на два года, но он уже закончил аспирантуру на нашем филологическом, готовился защитить кандидатскую. Кстати, и Барыкин кончил у нас аспирантуру. Его научным руководителем был Турбин.

В определённый день ближе к концу работы мы усаживались в бархатные кресла с пепельницами в подлокотни-

ках в небольшом зале, где нам показывали фильмы, так сказать, для общего развития: Чаплин, Феллини, Антониони, Трюффо, Хичкок, Поланский, менее известные режиссёры, но с известнейшими актёрами: Мэрлин Монро, Брижит Бардо, Симона Синьоре, Ив Монтан, Жерар Филип, Жан Габен, Марчелло Мاستрояни, Генри Фонда... Старые, немые, первые звуковые фильмы и фильмы, совсем недавно отснятые, только что удостоенные престижных наград на Венецианском или Каннском фестивалях. Так много прекрасных фильмов за короткий срок мне уже никогда больше не удалось повидать!

Но за всё нужно платить. И плата постепенно стала казаться мне чрезмерной, а потом – и вовсе невыносимой.

Конечно, не случайно, что Дымшиц взял меня в свою команду: я работал редактором сценарно-редакционной коллегии, которую он возглавлял. Член редколлегии ведал большим блоком киностудий или кинообъединений. Ну, допустим, блоком Средней Азии, или Кавказа, или всего «Мосфильма», в состав которого входило несколько разных объединений. А редактор был закреплён за одним объединением или за одной небольшой студией. Он обязан быть в курсе всего, что там происходит: текущей работы и будущей. А это значит, что на моём столе аккуратной стопкой были сложены и литературные сценарии, и режиссёрские. Я должен был знать, в каком состоянии в данный момент находится запущенный на студии фильм, отслеживать любые отклонения от

первоначальной его основы, одобренной нашей коллегией. И кроме того, я готовил проект заключения коллегии, принимающей или отвергающей фильм, и проект решения той же коллегии по поводу грядущего тематического плана студии.

Редакторская работа, о которой сказал мне Дымшиц, оказалась попросту цензорской. И, повторяю, не случайно, что он предложил эту работу мне. Ведь откуда он меня знал? По моим публикациям. А они, вероятно, должны были ему нравиться. Я прекрасно в то время сознавал, что такое советская власть, но в свои молодые лета был законченным циником. Почему я взял тему вступительного сочинения «Советский Союз – оплот мира и демократии»? Что я действительно считал таковым Советский Союз? Конечно, нет! Но я понимал, что требуется, чтобы произвести хорошее впечатление, и сознательно лицемерил, надеясь на поощрение – положительную оценку.

Это в стихах я ещё мог позволить себе самовыражение. А статьи мои были абсолютно шаблонны – я приноравливался к требованиям тех изданий, кто меня печатал. В то время литература чётко была поделена на два враждующих между собой лагеря «октябристов» и «новомировцев» – по главным журналам: «Октябрь» возглавлял партийный ортодокс Кочетов, «Новый мир» – либерал Твардовский. Оказавшись в одном лагере, ты считался чужаком для другого. Я сказал, что был циником? Да, но довольно наивным: я мечтал утвердить своё имя в литературе, а после скинуть маску. И был убеж-

дён, что мне это удастся сделать в ту самую минуту, когда захочу.

Теперь-то я понимаю, в какую опасную воронку был втянут и какой себя тешил утопией. Нельзя начинать с холуйства. Тем более перед лицом массовой аудитории, которая консервативна в своём восприятии литератора. Чтобы изменить её мнение о себе, мне пришлось выдавливать из себя раба отнюдь не по капле. Я печатался в «Юности», носил статьи и рецензии в «Новый мир», а за мной всё ещё тянулся шлейф автора тех злополучных статей и первой книжки о современной поэме, которая была моим дипломом и вышла через два месяца после его защиты.

В то время я уже год работал в Госкино, и дипломы нам, заочникам, вручал всё тот же Зозуля.

– Ну что, блатмейстер, – неслышно для других говорил он мне, пожимая руку и улыбаясь аудитории, – ушёл всё-таки от распределения! Ловок!

Перечитал написанное и увидел, что опять я не совсем точен: Дымшицу вряд ли нравились мои статьи, вряд ли понравилась моя брошюрка. Но он находил в них готовность служить режиму, и его это вполне устраивало. А меня – перестало, и первые, кто почувствовал это, были мои соседи по комнате.

Даже Балихин, ученик Турбина, который откровенничал со мной о жизни, а потом говорил на коллегии то, что она хотела от него услышать, замкнулся, почувствовав во мне

чужака. Рудницкий, давнишний приятель всемогущего заместителя председателя Комитета Баскакова, стал говорить со мной раздражённо. Остряк Раздорский, любивший читать каждому мораль, облакая её в слегка ущемляющую твоё самлюбие форму, стал задевать меня злыми и язвительными замечаниями, которые вызывали одобрительные похмыкивания в бороду у тишайшего Кости Ахтырского. Только Мулярчик как будто ничего не замечал. А, может, и действительно не замечал: он курировал совместные с иностранными фирмами постановки наших киностудий, и на редколлегии появлялся редко. К тому же ему не нужно было по нескольку раз в день смотреть фильмы, которые привозили сдавать в Комитет из разных республик страны, а потом участвовать в их обсуждениях.

Словом, атмосфера вокруг меня начала сгущаться. Я это особенно почувствовал на совещании нашего куста по «Мосфильму», которое проводил член редколлегии Скрипицын и на котором присутствовал Дымшиц.

Скрипицын с открытым простоватым русским лицом выглядел этаким честнягой, рубахой-парнем, который не пожалеет себя в борьбе за правду. А на самом деле обычно всё про всё и про всех знал: выводывал, какого мнения в настоящий момент держится начальство о ком-то или о чём-то, и отстаивал именно это мнение. Обо мне ему давно уже донесли, что взял меня на работу сам Дымшиц, что, следовательно, я «человек Дымшица», и на совещаниях он не мог на меня не

нарадоваться: всегда хвалил и поощрял.

– В последнее время допускает много ошибок, – сказал он про меня. – Приходится сильно редактировать его заключения, да и на редколлегии высказывает мнения, которые не совпадают с большинством.

– Да, – подтвердил Дымшиц, – что есть, то есть. Придётся перекинуть его с «Мосфильма» на менее ответственную работу. Скажем, на Прибалтику.

Но здесь я проработал совсем немного. Подумав и поговорив с женой, которая работала младшим научным сотрудником в исследовательском институте и получала небольшую зарплату, на которую нам предстояло теперь жить, я понёс Дымшицу заявление об уходе.

– А ведь я подпишу, – сказал Дымшиц и холодно блеснул на меня стёклами очков.

– Конечно, подписывайте, – согласился я.

– Что ж, идите в кадры, – сказал Дымшиц, накладывая резолюцию.

На этом наши с ним отношения закончились.

А Комитет напомнил о себе через несколько лет и с неожиданной для себя стороны.

При мне студии Средней Азии курировал одноногий Антон Сегеди. Высокий, шумный, он обычно входил к нам в комнату перед обсуждением узбекского, казахского, любого другого из этого региона сценария или перед просмотром какого-нибудь фильма одной из пяти среднеазиатских сту-



дий. Он садился на стул, аккуратно прислонял костыли к столу и молитвенно складывал руки: «Поддержите, ребята!» И мы поддерживали. Хотя фильмы обычно были какими-то нудно-восторженными. Впрочем, Сегеди и не настаивал на том, чтобы фильм был рекомендован всесоюзному зрителю. Его вполне устраивало разрешение показывать картину в той республике, где она была отснята. «Там всё это воспринимают по-другому», – добро говорил он. Он вообще слыл добряком и весельчаком. В своей компании его любили. Внештатный член редколлегии Госкино и штатный член редколлегии «Литературной газеты» Георгий Гулия, печатавший на юмористической странице «Литературки» «Рассказы о моих друзьях», написал о нём под заголовком: «Мой друг Антон Сегеди». А спустя пару месяцев Сегеди как-то очень скоропалительно ушёл из Комитета на пенсию. Открылось, что несколько среднеазиатских режиссёров, которым надоели поборы Сегеди, обратились в ЦК КПСС, где рассказали о разных суммах, которые он установил за одобрение сценария и фильма. К партийной ответственности Сегеди привлекать не стали, тем более – к уголовной. Посоветовали только подать заявление об уходе. Что он и сделал.

\* \* \*

Итак, из Комитета я ушёл, как и написал в заявлении, «по собственному желанию». Перешёл согласно тогдашней

табели о рангах «на вольные хлеба». Правда, в эту табель сам я себя вписал преждевременно, ибо драконовского хрущёвского закона об уголовной ответственности за тунеядство никто не отменял. «На вольных хлебах» могли существовать члены творческих союзов и – о радость! – члены нескольких профкомов литераторов при крупных издательствах. Для вступления в профком требовались только публикации. Выбрав профком литераторов при издательстве «Советский писатель», я поспешил обрести статус его члена; там царили радушные и благодушные нравы. Раз в две недели мне присылали приглашение на чай, за которым предполагалось обсудить работу какого-нибудь коллеги. «Приветствуется домашняя (и не только) выпечка, которую Вы принесёте с собой», – неизменно сообщали устроители чайных посиделок.

Очень скоро я понял, как тяжело жить одной только литературной подёнщиной. Из Комитета я ушёл внезапно, не подготовившись к этому. Никаких публикаций в ближайшее время у меня не предвиделось, а это значит, что надо было ломать голову над тем, где доставать деньги. Несколько знакомых пообещали узнать в разных издательствах насчёт внутренних рецензий. Но издательства обычно посылали рукописи своих авторов на рецензии не членам профкома литераторов, а членам Союза писателей, в котором я не состоял. Так что такие обещания оборачивались ничем. Я писал много, но уже не по заказам. А это значило, что возни-

кали проблемы с публикациями. Хотя круг изданий, где я печатался, расширился: «Комсомольская правда», «Московская правда», «Учительская газета», журналы «Юность» и «Смена». Посылал я свои статьи на периферию. Откликнулся «Дон», но печатать меня не спешил...

Не помню, откуда я узнал, что журнал «Семья и школа» ищет литературного сотрудника и что поисками занимается ответственный секретарь журнала Пётр Ильич Гелазония. Но помню свои первые впечатления от знакомства с ним, улыбчивым и обаятельным человеком. Да, подтвердил он, им нужен заведующий литературным отделом, но этой ставки пока в журнале нет, главный редактор Орлов будет её выбивать в Министерстве просвещения, скорее всего выбьет, но у меня есть конкурент – некий детский писатель. Выбрать из нас двоих будет член редколлегии журнала Владимир Михайлович Померанцев. Он курирует литературу. А я пока что могу привлечь к публикации в журнале новых авторов. Лучше всего – известных писателей. За каждую их публикацию мне будут платить определённую сумму.

Дня через два позвонил Померанцев и сказал, что хотел бы со мной познакомиться. «Я объяснил Петру Ильичу, – сказал он, – что критик предпочтительней прозаика. У критика взгляд на литературу шире и беспристрастней».

На встречу с Померанцевым в Центральном доме литераторов я пришёл не с пустыми руками: получил повесть о сельском учителе от Булата Окуджавы, дали стихи Варлам

Шаламов и Олег Чухонцев, взял статью у критика Бенедикта Сарнова. Померанцев расцвёл. «Вот и прекрасно. Будет у нас нормальный журнал», – сказал он, листая рукописи, и спрятал их в портфель.

Из Дома литераторов мы поехали к Владимиру Михайловичу (две трамвайные остановки от метро «Семёновская») и ушёл я от него поздно, навсегда влюбившись в этого удивительного человека.

На дворе стоял 1965-й год, начинающий по Велемиру Хлебникову новый двенадцатилетний жизненный цикл России, год, концентрирующий в себе какие-то очень важные для страны потрясения. Хлебников считал, кажется, с года, предшествующего воцарению Николая II. Через двенадцать лет после этого последовала революция 1905-го. Ещё через двенадцать – 1917-й. Хлебников умрёт, а его открытие продолжали подтверждать год великого перелома – 1929-й, перебивший хребет свободному русскому крестьянину, начало Великой Отечественной – 1941-й и смерть тирана в 1953 – м, когда хватка на горле страны стала слабеть и страна училась свободно дышать. 1965-й Россия встретила с новым руководством, которое только что сбросило Хрущёва и пока что размышляло, как быть дальше? Разброд мнений был широк. С одной стороны, говорили о либеральных экономических реформах, которые якобы хочет осуществлять Косыгин. С другой – пока что очень осторожно, аккуратно – о том, что нельзя оплёвывать славное наше прошлое и особенно подвиг

советского народа в Отечественной, особенно – блистательное руководство военными операциями... нет пока что не Верховного Главнокомандующего, а великих маршалов. Но вот – в докладе Брежнева по случаю двадцатилетия победы прозвучало, что не следует забывать и о Верховном Главнокомандующем Сталине, и зал только что не вскочил в едином порыве, но разразился аплодисментами, которые так любил организовывать в честь себя усопший вождь и которые преданная ему пресса угодливо величала бурными и долго не смолкающими. Второй раз такие же аплодисменты и так же спонтанно возникли ровно через двадцать лет, когда новый генеральный секретарь прочитал в своём докладе вроде бы сухую историческую справку: «Был создан Совет Обороны во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным». Но Горбачёв вдруг оторвался от бумаги и грозно цыкнул на зал, моментально загасив костёр ликующей преданности тирану. Брежнев аплодисменты благодушно переживал...

Но год не только начинал собой новый виток истории, он завершал прежний, связанный с существенными послесталинскими послаблениями, на волне которых Владимир Михайлович Померанцев оказался членом редколлегии пусть и не «толстого», но вполне официального журнала.

Как он там оказался? У старика Орлова, бывшего заведующего городским отделом образования в Москве, были со Сталиным свои счёты: большинство его родственников репрессировали. И хотя сам Орлов не пострадал, но хрущёв-

ский доклад на XX съезде одобрил очень горячо. Жадно читал «Новый мир» Твардовского и был под огромным впечатлением от повести Солженицына. Назначенный главным редактором «Семьи и школы», он каким-то образом добился от Министерства утверждения беспартийного Гелазония ответственным секретарём, и – мало того! – делил с Петром Ильичём редакторские обязанности – прислушивался к нему, подписывал почти всё, что предлагал Гелазония. Так вот Пётр Ильич и посоветовал Орлову взять в редколлегию Померанцева. И Орлов, помнивший и статью «Об искренности в литературе», и то, как долго на разных собраниях клеймили её автора, согласился, чтобы литературу в его журнале курировал этот не так ещё давно бывший в глухой опале писатель. Померанцева и сейчас печатали не слишком охотно. Но – надо отдать должное Петру Ильичу: члену редколлегии министерского журнала печататься всё-таки было легче, чем просто литератору, в прошлом опальному. Это почувствовал и сам Померанцев, который любил Гелазонию и был благодарен ему.

Пётр Ильич, Петя Гелазония и сам по себе человек необычной судьбы. Сейчас он возглавляет «Семью и школу», которая давно уже перестала быть министерским органом и существует, так сказать, в автономном режиме, то есть едва-едва сводя концы с концами, и то благодаря бескорыстной изобретательности главного редактора и его немногочисленной команды, согласной месяцами сидеть без зарплаты ради

выхода очередного номера.

В то время носивший окладистую бороду Гелазония казался старше своих лет, и я удивился, узнав, что младше его всего на три года. Он учился на философском факультете МГУ, где вместе с несколькими энтузиастами создал общество, которое читало и изучало запретных философов. Тайны из этого не делали, понадеялись на либерализм, который расцветал при Хрущёве, после того как он прогнал из Политбюро Молотова, Кагановича, Маленкова и других сталинских присных. Зря понадеялись! Хрущёв показал себя человеком неуравновешенным и ортодоксальным: его искренняя вера в коммунистическую догму заставляла его озлобляться против всех не верящих в неё, быть подозрительным, считая их врагами. Защитить диплом Пете не дали, выгнали с пятого курса. Причём он мог считать, что ещё дёшево отделался: кое-кто с исторического и с того же философского получил срок по уголовной статье за антисоветскую деятельность – той самой сталинской пятьдесят восьмой, которая продолжала ещё действовать!

Не знаю, каким образом он оказался в «Семье и школе». Слышал, что он долго до этого мучался в безденежье с женой и двумя детьми, что, впрочем, не поубавило его отваги.

Мы напечатали подборку стихов Олега Чухонцева, которые глубоко запали в душу Владимиру Михайловичу. «Ну откуда, – спрашивал Померанцев, – у этого молодого человека столько житейской мудрости?» Само собой, что он захо-

тел лично познакомиться с Олегом, и вот уже Чухонцев сидит в уютной кухоньке Померанцевых, читает стихи, а Владимир Михайлович то блаженно закрывает глаза, слушая, то открывает их и влажным взором обводит Олега, меня, Петю, жену свою – добрейшую и приветливейшую Зинаиду Михайловну. Обаятельную, не меньше, чем её муж.

Напечатали мы талантливый рассказ «новомировского» автора Елены Ржевской. Начали готовить к печати другие публикации. Казалось бы, кто знал «Семью и школу», кто её читал? Ан нет, слухи о хороших публикациях быстро захватили тогдашнюю интеллигенцию, и вот уже со мной связываются авторы, предлагают материалы. Звонит из «Нового мира» заведующая отделом прозы Анна Самойловна Берзер: у неё в портфеле есть вещи, которые, может быть, нам подойдут. Много добрых знакомств было завязано в период, когда я работал на «Семью и школу».

Помню, как рано утром (на это время мне было назначено) очутился я в квартире Наума Коржавина, был отведён им на кухню, где получил чуть ли не стакан коньяку, который Эмма (настоящее имя Коржавина Эммануил) стал уговаривать выпить меня за важное событие в его жизни, которое произошло вчера: он женился!

В кухню, страшно морщась, вошёл человек, который, кивнув мне, сразу полез в холодильник.

– Это Рассадин, – сказал мне Эмма, – познакомься.

– Мы знакомы, – сказал я.



Я носил свои статьи в «Юность», где Рассадин был заведующим отделом критики.

– Шляпа, – закричал Рассадин, обшаривая морозильник в холодильнике (он употребил менее приличное слово), – смотри, что ты сделал с пивом.

В бутылке и в самом деле лежал лёд.

– Это не страшно, – сказал я. – Давайте выпьем коньяку. А пиво постепенно разморозится.

– Коньяку, – проворчал Рассадин, – ну давай, Эмка выпьем коньяку!

– Так какие твои стихи берёт журнал «Семья и школа»? – спросил он.

Моим выбором он остался доволен.

– Хотите статью о Маршаке, – сказал он. – Могу дать хоть завтра.

Ещё бы не хотеть!

Словом, за месяц у меня набралось столько чудных материалов, что публикации их хватило бы на год.

– Всё, всё напечатаем, – говорил Петя. И в самом деле, печатал.

Опубликовали стихи Шаламова. Напечатали стихи Наума Коржавина и Эльмиры Котляр. Статью Станислава Рассадина о Маршаке. Очерк Бориса Балтера, который тогда пользовался бешеной известностью как автор повести «До свидания, мальчики!», недавно напечатанной в «Юности». Кстати, ещё после публикации Коржавина Орлову были высказа-

ны по телефону недоумённые чиновничьи замечания. Но мы в журнале держались так, будто этих звонков не было. Мы осмелели настолько, что Петя заслал в набор даже кое-что из «Крохотных рассказов» Солженицына, что в то время было невероятной храбростью. Правда, к Солженицыну я отношения не имел. Гелазония выбрал несколько «крохоток», ходивших в самиздате, набрал их и послал в Рязань Солженицыну. И очень быстро получил от писателя благодарственное письмо и выправленные им гранки. А потом Солженицын приехал в «Семью и школу», где они с Петром Ильичём очень тепло поговорили. Поэтому меня неприятно резануло, когда позже в солженицынском письме Съезду писателей, которое мне дал прочитать получивший его по почте, работавший со мной в одном отделе «Литературной газеты» Толя Жигулин, в перечислении журналов, которые «отвергли» «крохотки» я увидел «Семью и школу». Ах, если бы знал Александр Исаевич, как все мы надеялись, что проскочат через цензуру его рассказы, как наивно полагали, что цензор не будет читать нас с таким же вниманием, как «Новый мир»! Да и не нас ли разве самих в конце концов «отвергли» именно за то, что засылали мы в набор (не говорю: печатали!) материалы, которые шли в разрез с официозом? (Справедливости ради, скажу, что в окончательном варианте своего письма Съезду, напечатанного как одно из приложений к «Телёнку», Солженицын перечисление «отвергнувших» его произведения журналов снял.)

Эйфория наша длилась, однако, очень недолго. Причём споткнулись мы, а потом упали совершенно неожиданно: никак не предполагали, что гром грянет с почти безоблачного неба.

Мы напечатали подборку стихов Владимира Корнилова, среди которых мне особенно нравились стихи об Ахматовой. Они сейчас очень известные: «Ваши строки невесёлые, / Как российская тщета, / Но отчаянно высокие, / Как молитва и мечта, / Отмывали душу дочиста, / Уводя от суеты, / Благородством одиночества / И величием беды», ну и так далее: их легко найти в корниловских книжках.

Но то стихотворение, которое нам вышло боком, Корнилов потом никогда не перепечатывал. Даже когда рухнула советская власть, и его восстановили в союзе писателей, и он получил возможность доносить до нового читателя все свои прежние вещи. Мне он объяснил, что не печатает «Пса», потому что Аара (его жена и взыскательный читатель), не очень любит, когда он в стихах погружается в быт. Я очень ценю Ларин вкус, но здесь позволю себе с ней не согласиться. По моему, стихотворение, которое привожу по памяти, замечательное:

Пёс был шелудив и глуп,  
Тощ и плюгав.  
Пил из водосточных труб,  
Жрал – из канав.  
Непонятливый, никак

Взять не мог в толк,  
Что хоть сто таких собак  
Мог кормить полк.  
А в полку у нас врачом  
Дама была.  
Мы пред ней стояли в чём  
Мать родила,  
Еле вытерпев позор,  
Лезли в бельё.  
Ну так вот. Из-за неё  
Вспыхнул сыр-бор.  
Увидала как-то раз  
Лекарша пса  
И пошла и завелась  
На полчаса:  
– Что за пёс? откуда пёс?  
Что вам здесь – цирк?  
Не хватало, чтоб занёс  
Всяких бацилл!  
А дежурным по полку  
Был капитан.  
Топал с шашкой на боку.  
Плац подметал.  
Заспешил на дамский клич,  
Как джентльмен,  
И осклабился, как хлыщ:  
– Это в момент!  
Пёс в щенячьей простоте  
Не понимал.

А начальник пистолет  
Приподымал.  
По науке совмещал  
С мушкой прицел.  
Пёс лежал и не мешал,  
Скучно глядел.  
...Тонны в полторы удар  
Вбил, вдавил в пыль.  
Снайпер подмигнул: как дал?  
Как, мол, убил?..  
Но врачиха сникла вдруг:  
Что ж тут смотреть...  
Всё – таки не по нутру  
Женщине – смерть.  
...Вот и всё.  
Сошла, журча,  
Дюжина лет.  
Думаю, того хлыща  
В армии нет.  
Думаю, теперь урод  
Малость поблёк:  
Возглавляет гардероб  
Или ларёк.  
Женщины и не глядят  
На дурака,  
А жена – он был женат —  
Ставит рога.  
Думаю, забыл всю спесь,  
Жалок стал, льстив,

Думаю, что так и есть:  
Мир справедлив!

Казалось бы, что здесь можно оспорить? К чему прицепиться? Позиция поэта кристально чиста. Его приговор бездушному негодяю понятен и естественен. Вот стихи, которые добавляют человеческим душам гуманности, и потому они особенно уместны на страницах журнала, который называется «Семья и школа»!

Оказалось, что именно на его страницах они особенно неуместны. Потому что существует такое святое для каждого советского человека понятие, как «военно-патриотическое воспитание». Об этом нам напомнила «Красная звезда», напечатавшая обширную злобную реплику некоего майора. Где в советской армии, возмущался майор, автор нашёл такого капитана? Что это как не попытка подорвать доверие читателей к овечьному славою советскому офицерству? По какому праву автор и, очевидно, разделяющая его мнение редакция... Впрочем, запал майора, которого сейчас тоже пересказываю по памяти, стандартен и шаблонен: так писали, когда жаждали крови, когда были убеждены, что кровь обязательно прольётся!

И не ошиблись. «Красная звезда» была органом всемогущего ведомства – политуправления армии. Её критика ничего другого, кроме оргвыводов не требовала. И спешно созванная коллегия Министерства просвещения их немедленно

но сделала. Орлов получил выговор, Померанцева из редколлегии вывели (или добились, чтобы он сам из неё вышел, — не помню). Искали, конечно, стрелочника. Но я в штате не работал. И было понятно, что в обозримом будущем меня туда и не возьмут.

Но Пётр Ильич расплатился со мной щедро. Настоял даже на публикации совершенно не журнальной вещи — моём радиоочерке о поэте Евгении Винокурове. «Вам что, деньги не нужны?» — обосновывал он своё решение печатать радиоочерк. Оплатил он как не пошедшие не по вине авторов и многие набранные материалы. Среди них особенно было жалко, что не успели мы напечатать рассказ Льва Александровича Кривенко «Фурье».

С Лёвой Кривенко меня познакомил Борис Балтер, который очень рекомендовал его печатать. «Это — настоящее», — говорил он о его рассказах. Так же, как и Балтер, Кривенко был автором калужского альманаха «Тарусские страницы» — своеобразного «Метрополя» тех лет, потому что подвергся не меньшему, чем в будущем «Метрополь», официальному остракизму. Сразу же после критики «Тарусских страниц» воронежский «Подъём» выломал из макета номера и вернул Лёве его «Фурье». Не спасло рассказ предисловие учителя Кривенко (и Балтера, и многих других, с которыми я познакомился и подружился именно в доме Кривенко) Константина Георгиевича Паустовского. Лёва был его любимым учеником, а из всех учеников Паустовского был Кривенко челове-

ком, пожалуй, самой несчастной творческой судьбы. Фронт-овик, командир взвода автоматчиков, тяжело раненый и демобилизованный в 43-м по инвалидности, с рукой, которую носил как бы наперевес из-за повреждённого локтевого сустава, Лёва описал злоключения своего взвода в повести, которая очень горячо была принята на семинаре Паустовского. Защищённая как диплом в Литинституте, она получила высшую оценку и дала возможность её автору продолжать учёбу в аспирантуре. А вот с её публикацией дело обстояло не так здорово. Московские и ленинградские журналы печатать её не решились: слишком не похоже было толкование фронтовых событий в этой повести на то, к чему стали приучать послевоенного читателя. (Вспомним, что даже получившая сперва сталинскую премию «Молодая гвардия» через короткое время была признана порочной, и её автору было предложено ввести в повествование якобы действующее в подполье партийное руководство молодёжной организацией, что Фадеев и сделал, хотя знал, что райком партии позорно бежал, когда немцы подошли к Краснодону.) Паустовский не унимался и продолжал предлагать Лёвину повесть любому объявляющему о себе областному альманаху. В результате из одного из них повесть отправилась в агитпроп ЦК, где её внимательно прочитали и добились по ней некоего закрытого постановления, пресекающего любые Лёвины попытки напечататься. Не имея ни одной публикации, Кривенко попал в чёрный список тех, кто их никогда иметь не будет.



Ничто не вечно под луною! Хрущёвская оттепель сняла табу с Лёвиного имени, и «Тарусские страницы», как я уже сказал, рассказ Кривенко напечатали. Однако эта публикация повлекла за собой новое табу. Заранее оповещённые в «Магистрали» Окуджавой, мы оставили на улице Кирова (бывшей и нынешней Мясницкой) в магазине областных изданий открытки-заявки на альманах. Его мы получили чудом, потому что почти сразу же из многих идеологических орудий был нанесён по альманаху мощный залп, и 75 тысяч экземпляров, заявленные в выходных данных, на самом деле не поступили в продажу: половина тиража, оставшаяся на складе издательства, была немедленно уничтожена по верховному приказу из Москвы. Калужские издатели слетели со своих постов. И кто знает, как развивались бы события дальше, если б Паустовский (так рассказывают) не добился приёма у Хрущёва, который отменил особо погромные пункты решения по альманаху Бюро ЦК КПСС по РСФСР (существовала одно время такая начальствующая над всеми российскими регионами партийная инстанция).

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.